

Сергей Рубцов

Невыдуманные рассказы



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Сергей Валентинович Рубцов

Невыдуманные рассказы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=53823653

SelfPub; 2020

Аннотация

Название "Невыдуманные рассказы" говорит само за себя. В сборник вошли произошедшие с самим автором истории, героями которых стали его близкие, друзья, приятели и просто случайные знакомые, благо, жизнь подарила писателю уникальные встречи с самыми разными людьми. Истории веселые и грустные, забавные и трагические, разнообразные, как жизнь. Содержит нецензурную брань.

И БЫЛО УТРО...

И БЫЛО УТРО...

Утро. Понедельник. Зима. Димка ещё не проснулся. Во сне всё как-то странно перемешалось: вроде зима на дворе, у сараев кучами навалены дрова, но кусты сирени и акации покрыты белым, лиловым и жёлтым цветом. На клумбе распустились анютины глазки. Сестра Аня взлетает на качелях, срывается и уносится высоко в облака, помахивая своими тонкими косичками. Медленно падают большие пушистые снежинки. Старая высокая берёза стоит в осенних золотых листьях. Под нею за деревянным столом, покрытым снежной скатертью, гомонят соседи-картёжники, среди них сидит Димкин папа в майке, в старых тренировочных штанах с пузырями на коленях. Он весело спорит, смеётся, а Димка пытается катать по заснеженному двору своего друга и вечного соперника Саньку Семёнова в детской металлической коляске. Санька тяжёлый, да и коляска нелёгкая: застревает колёсами в рытвинах и лужах. Санька развалился, как фон-барон, довольный. Димка тянет изо всех сил. Вспотел. Ему тяжело и жарко. Он оборачивается, хочет прогнать этого оболтуса, но вместо Саньки видит его мамашу, stodвадцатикилограммовую Мотю. Мотя, выставив пузо, улыбается всеми тремя подбородками и говорит папиным голосом:

– Жалко... бу-бу... Димку, Надя... бу-бу-бу... может... бу-бу... ну её, эту пятидневку?

Санька появляется из воздуха, щерится так же, как его ма-

маша, тычет пальцем в Димку и голосом Димкиной мамы произносит:

– Ага, ты, что ли... бу-бу-бу... с ним сидеть.. бу-бу... будешь?! А на работу...бу-бу-бу... Пушкин пойдёт?

– Гоголь! – зло парирует Мотя голосом папы.

– Щас мы его, – продолжает она маминым голосом, тяжело вздыхая, выбирается из коляски, подходит к Димке и хватает его за воротник шубейки.

Димка от страха приоткрывает глаза – видит перед собой мамино лицо и чувствует прикосновение её тёплых рук.

– Да ты совсем мокрый! – взволнованно говорит мама.

Она пытается поставить малыша на ножки, но они у него разъезжаются в разные стороны.

– Ну-ка встань сейчас же! Нашёл время, – строго командует мама.

Димка обиженно сопит, но делать нечего – приходится подчиниться.

Мама обряжает полусонного малыша в тёплое: колготы, вязаную кофту, валенки. Она торопится и, застёгивая верхнюю пуговицу мутоновой шубки, прихватывает кожу на Димкиной шее. Малыш плачет: шейка болит, и спать хочется. Домой он вернётся теперь не скоро. Правда, его повезут на салазках. Это здорово! А пока Димка краешком глаза поглядывает на папку, который около печки скачет вприсядку, засовывает в топку светлые чурочки, куски шуршащей газеты, чиркает спичкой, глубоко вдыхает, смешно надувает щё-

ки и с шумом выпускает из себя воздух на едва занявшийся огонёк. Потом он прикрывает печную дверцу, окрашенную алюминиевой краской и треснувшую с одного края. Димка не хочет, чтобы его увозили от весело горящего огня из домашнего тепла в темень и в холод.

Печка постреливает и гудит. По потолку и по стенам скачут огненно-рыжие кролики или зайцы – а вот и не зайцы, а воробьи! – и воздух в комнате пахнет костром, лесом и ещё чем-то, Димке не знакомым.

Ему становится жарко, и мама торопит отца. Тот вяло огрызается, быстро натягивает ботинки, накидывает драповое тёмно-синее пальто, шарф, шапку-ушанку, одной рукой подхватывает Димку, другой – салазки и выходит, поднимаясь по ступенькам лестницы, в снежную пустоту двора.

Ветра нет. Тихо. Крупные снежинки медленно опускаются почти вертикально, ложась на землю, на шапку и папины плечи, на Димкины щёчки. Мальчик знает, что это снег и, что если бы не надо было рано вставать – жизнь была бы прекрасной.

Отец усаживает сынишку в санки. Накидывает на него байковое голубое в белую полоску одеяльце, подтыкает со всех сторон, прикуривает сигарету – и вот уже санки легко скользят, подпрыгивают и стучат на бугорках. Впереди маячит тёмная спина отца. Снег слегка поскрипывает под его ботинками.

Отец с сыном быстро пробегают через тёмный сонный

двор и выезжают на улицу. Воронка света. Фонарь на длинной тонкой ноге. Деревья, дом и тротуар застыли. Стволы берёз, чугунная решётка ограды, дровяные сараи стоят, позолоченные, в песцовых шапках и горностаевых мантиях. Снежные пушинки ложатся на Димкино лицо, губы, залетают в рот.

Теперь чуть прямо по улице и налево вниз. Крутой спуск по Уборявичуса к Колхозному рынку. Тут санки катятся сами, и отец притормаживает, не даёт им набрать скорость. Скоро «баба-няня» будет кормить Димку застывшей кашей и поить чаем или молоком, которые пахнут вонючим котлом и казённым алюминиевым чайником. Б-р-р-р-р-р!!! Димка мотает головой и мычит. Правда, есть одна хорошая тётя, которая нежно относится к нему, и за это он поёт ей разные песенки. Они выпрыгивают из большой чёрной тарелки, что висит над родительским диваном, а Димка ловит их на лету ушами и запоминает. Хорошая тётя называет его «певунчиком», ласково гладит по головке и говорит, что Димка точно станет артистом. Это, наверное, очень приятно – быть артистом!

Нечто похожее происходит, когда папа снимает со шкафа длинный кожаный чемоданчик и достаёт сверкающее поворотами и изгибами скрученное медное змеиное тело. Папа называет его трубой. Он приделывает к его попке такую короткую трубочку, потом присасывается к ней, и тогда из широкой круглой дырки раздаются разные красивые – то гром-

кие и резкие, то нежные и протяжные – звуки. Здорово! Но мама почему-то всегда морщится, как будто у неё болит зуб, и говорит, что если папа не перестанет, то она уйдёт на улицу. Странная она, эта мама!

Днём в яслях ещё терпимо: игрушки, прогулки, какие-то замысловатые хороводы под звуки, что слышатся из чёрного большого ящика. Хорошая тётя иногда садится на круглый вертячий стульчик, открывает длинную крышку ящика, нажимает пальцами на белые и чёрные блестящие палочки и тупельками давит на металлические ножки, торчащие снизу. Димке кажется, что под этой крышкой, наверное, сидят какие-то дяди и тёти и поют на разные голоса.

Ящик стоит в большой комнате, которая называется странно – «группа продлённого дня». Зато в «группе продлённой ночи» детям не до веселья: они плачут и вякают – хотят домой к мамам и папам, но почему-то в спальню вбегает сонная нянька и, шипя от злости, принимается укладывать «малых горемык» на спину и требовать тишины.

Димка ревёт вместе с товарищами по несчастью. Но каким бы безграничным ни было горе, оно всё равно заканчивается. Нянька гасит свет и уходит. Крадучись, на мягких лапах приближается сон, и малыш начинает слышать, как падают за окнами лёгкие белые пёрышки, как прыгают по снегу и разговаривают между собой большие чёрные птицы и плывут по ночному зимнему небу тёмно-серые облака. Сонному Димке чудится, что хорошая красивая тётя тихо приса-

живается на кровать и гладит его по головке, приговаривая: «Милый певунчик, не бойся, будешь ты артистом!» Он улыбается и засыпает.

Завтра вторник. Жизнь продолжается.

МАЭСТРО

Димка, конечно, слышал о смерти. Люди умирают – это ему было известно: иногда отец играл на похоронах в духовом оркестре и брал его с собой. Вид покойников был неприятен, но не больно-то пугал Димку. Умершие вели себя тихо, в отличие от родни, которая суетилась вокруг них, рыдала под марш Шопена, таскала венки. Димку всё это не трогало. Он больше наблюдал за оркестром и музыкантами, а особенно за батей, который увлечённо дул в трубу. Покойного, наконец, благополучно закапывали в подготовленную ямку, бросали по очереди горсть земли, платили музыкантам по червонцу на брата и уезжали на поминки.

Играть Димке было не с кем: никто из музыкантов детей с собой не брал. Он бродил среди могил, разглядывал фотографии, надгробные плиты, гранитные и мраморные памятники, кресты и звёзды.

Оркестранты прятали разогретые трубы, альты, тромбоны, тубы в чехлы и футляры. Сбрасывались по рублю, покупали в ближайшем магазине выпивку и закуску, и если позволяла погода, устраивали где-нибудь в тени на лужайке пикник. Клади на траву большой барабан, накрывали его газе-

тами – вот тебе и стол. Рассаживались кружком. Крупными, смачными кусками нарезали свежий ржаной хлеб, розовую докторскую колбаску, лучок, открывали банки с килькой в томате, кто-нибудь вытаскивал прихваченный из дома шмат сала, свежие огурчики и помидоры. Разливали по гранёным стаканам белую прозрачную пахучую водичку. Выпивая, крякали, морщились, закусывали.

Димка с интересом наблюдал, как главный в оркестре по фамилии Бuzдыганов – старик с костлявым серым лицом (музыканты звали его «маэстро»), – запрокинув голову, жадно пил из гранёного стакана и как на его изрезанной сеткой морщин жилистой шее, словно острый локоть, дёргался кадык.

Бuzдыганов опорожнил стакан. Вернул голову в прежнее положение, при этом длинные седые волосы, прежде откинутые назад, упали на его лицо. Сквозь редкие пряди на Димку глянул полный безумия и злости глаз.

– Вот, жмоты, ети их... жалко им для музыкантов выпивки с закуской! – хрипло прокаркал маэстро, накладывая перочинным ножом кильку на хлеб.

– А вдова-то ничё бабёнка? Её ещё лет десять можно эксплуатировать! Правда, маэстро? – плотоядно ощерившись, шуточно заметил полноватый весёлый барабанщик.

– Можно! Только жадна больно, боюсь, голодом заморит, и года не протянешь, – хмуро ответил Бuzдыганов, подмигнул половиной лица и потянулся за колбасой. – Ладно, на-

ливай ещё по одной, чего её греть – не у Проньки за столом.

Димка не знал, кто это, Пронька, дядя или тётя?

Отец любил рассказывать про Бuzдыганова.

Маэстро воевал, попал в плен к фашистам и угодил в Бухенвальд. Батя объяснил, что Бухенвальд – это лагерь, и мальчишка представил себе лагерь, где он отдыхал летом. Но тогда батя сказал, что там наших пленных солдат травили газом и сжигали в больших печках.

«Н-е-е, это не пионерский лагерь!» – подумал Димка.

Маэстро уже стоял в очереди в газовую камеру, а немецкий офицер, эсэсовец, ходил и спрашивал: нет ли музыкантов среди пленных? (Фашисты, оказывается, очень любили мучить и убивать людей под музыку.) Маэстро ещё до войны научился играть на трубе и, когда немец подошёл к нему, вышел из строя и сказал, что он трубач и знает ноты. Так Бuzдыганов спасся и до конца войны играл в лагерном духовом оркестре. Вернулся он домой очень нервным, потому и щека у него всё время дёргается, и бояться стал много чего: не любит, когда громко кричат и собаки лают, ещё ненавидит композитора Вагнера, потом, когда слышит немецкую речь и когда труба дымит, костёр не любит и дым от костра.

– Мы при нём никогда костёр не разводим, – подытожил батя.

– Почему?

Но батя уже прикурил сигарету и вышел из комнаты.

Димка видел фильмы про войну. Там наши солдаты всегда фашистов побеждали или брали в плен, за это получали ордена – вот это герои! А тут перед ним седой, нервный старик, худой, небритый, в помятом пиджаке без единой медали, который всего боится. Неувязочка!

Димка сидел около отца, ел вместе с музыкантами и слушал взрослые мужские разговоры. Жизнь была рядом и вокруг, а смерть казалась далёкой, непонятной и его не касалась.

В город возвращались весёлые. Музыканты хором пели какие-то незнакомые Димке дикие мелодии, выделявали губами всякие звуки, стучали себя по коленкам. И когда Димка спросил у отца, что это за музыка такая, тот сказал, что это джаз. Димке джаз очень понравился! Он долго думал, что джаз только так и играют на губах. Но потом он увидел кинофильм «Весёлые ребята», и вопрос с джазом для него несколько прояснился.

Время от времени отец рассказывал о том, что происходит в оркестре. Он иногда после работы шёл в заводской клуб на репетиции и домой приходил позже, чем обычно. Смеясь, рассказывал, что маэстро опять чудил: что-то у них там не получалось правильно сыграть, кто-то постоянно фальшивил. Бuzдыганов плевался, матерно орал на музыкантов, в гневе сломал все дирижёрские палочки и, наконец, убежал, прокричав напоследок, что он не намерен тратить время на

бездарей и лоботрясов, и больше ноги его не будет в клубе.

Месяца три о маэстро отец ничего не рассказывал, и Димка уже начал забывать о существовании седого нервного старика. Но как-то вечером батя опять поздно вернулся домой. Мама начала ругать его за то, что он опять выпивал с друзьями-музыкантами и что «надо покончить с этими репетициями, которые превращаются в пьянки».

Димка уже лежал в постели, но ещё не спал и всё слышал, хоть родители и старались говорить тихо.

Отец рывкнул: репетиции и так уже прекратились, потому что Бuzдыганов сегодня ночью повесился. Мама заохала: где, да как, да отчего, да почему? Отец пробурчал, что сам толком ничего не знает. Сказал только, что маэстро последнее время совсем запился, а потом и вовсе куда-то пропал, и его никто не видел.

– Ясное дело, лагерь, – выдохнул отец, – и место ведь для самоубийства какое выбрал. На улице, напротив бани. Знаешь, где передовики Ленинского района висят?

– Угу, – ответила мама.

– Прямо на железной трубе...

– Ох, беда-то, вот беда!

– Так что, мать, не переживай, нет больше маэстро – не будет теперь ни репетиций... ни концертов... ни халтуры... ни танцев... ни похорон...

Последние слова отец бормотал себе уже под нос. Немного поскрипел пружинами дивана. А потом засопел. Заснул.

– Ох, горе горькое, – прошептала мать, щёлкнула выключателем и ушла на кухню.

Димка лежал в темноте с открытыми глазами. Он хотел поговорить с кем-нибудь, но сестра Аня уже спала. Маэстро умер – это было понятно, но почему он повесился и как выглядит человек, который повесился, – мальчишка не знал.

«Наверное, это очень страшно, – подумал он и накрыл голову одеялом. Ему стало жарко. – Как в бане... а напротив маэстро...»

Димка представил, как идёт от своего дома до бани. Он вышел из двора, повернул направо и, сделав около ста шагов, заснул, но не заметил этого и во сне продолжал идти.

На улице было пусто, но со стороны бани слышался шум и доносились звуки духового оркестра – осталось только обогнуть большой угловой дом. Неожиданно откуда-то выскочила немецкая овчарка и скрылась за поворотом. На перекрёстке Димка увидел трёх фрицев в чёрной фашисткой форме около мотоцикла, они о чём-то мирно беседовали с нашими танкистами и кормили большую красивую собаку любимыми Димкиными конфетами – ирисками «Золотой ключик». Тут же стоял советский танк Т-34. «Здорово, – подумал во сне Димка, – неужели кино снимают?!» Военные, заметив мальчишку, обрадовались, словно ждали именно его. Стали махать и показывать руками, куда ему идти, как будто он был глухонемой. Последнюю часть пути Димка пролетел неожиданно быстро.

У входа в баню играл духовой оркестр. Только играл он как-то странно: то похоронный марш, то джазовую мелодию, а временами и то и другое вперемешку. В толпе музыкантов Димка узнал отца и удивился: он же вроде бы должен спать дома! К входным дверям вереницей тянулась очередь из пленных немцев. Немцы были какие-то серые, унылые и все как будто на одно лицо. «Ага, попались, гады, – обрадовался во сне мальчишка и погрозил фрицам кулачком, – шас вас, чертей, прожарят веничками в парилке!»

Высокая кирпичная труба пронзала нежную бирюзовую мякоть неба. По раненому небу растекалась чёрная кровь. Тут он увидел маэстро Бuzдыганова – ещё минуту назад его здесь не было. «Вот же, он – живой! Батя, наверное, что-то напутал!» Маэстро – в чёрном фраке и в белоснежной манишке – дирижировал оркестром. Лицо его было спокойным и молодым, седые волосы аккуратно причёсаны. Он больше ничего не боялся.

Маэстро обернулся, весело подмигнул Димке – и на его груди на мгновение ярко сверкнула золотая звезда Героя.

КРЫСА

Димке лет шесть или семь. Лето. Тепло.

Неожиданно в гости к Филумовым приехал родной брат матери, дядя Степан. Дядю Димка видел только на фотографиях. Знал, что тот работает взрывником на шахте: то ли где-то на Урале, то ли в Сибири. И вот он приехал.

Мать тогда была на работе. Дядя Степан подъехал к заво-

ду и вызвал её на проходную, но себя не назвал: решил сделать сюрприз. Мать узнала брата, – и просто обомлела. Они не виделись больше пятнадцати лет!

Степан, как и его сестра Надежда, был невысокого роста, худой телом и лицом – немного азиатским и скуластым. Спал он на полу, рядом с постелью родителей, так как другой постели в однокомнатной полуподвальной квартирке Филумовых не было. Раздеваясь на ночь, клал верхнюю одежду на табурет.

Имелся у дядьки чудесный складной перочинный ножик, с полированной малахитовой ручкой, с разной длины лезвиями, штопором, шильцем и даже маленькими ножницами. У Димки, конечно, такой вещицы никогда и в помине не бывало. Да и у других пацанов тоже. В общем, не ножик, а мечта. Дядя Степан носил его в кармане брюк.

И вот Димка, когда дядя Степан, устав с дороги, ещё спал, залез к нему в карман, стащил нож и удрал во двор. Честно говоря, он не видел в своем поступке ничего постыдного. Подумаешь, а почему бы и не взять на время ножик, а потом вернуть его на место? Тем более что мальчишка просил дядьку подарить ему заветную вещицу, но тот отказал: мол, это чей-то подарок. Так что, можно сказать, сам «толкнул» племяша «на преступление».

Радостный Димка выбежал на улицу и стал кидать ножик, пытаясь всадить его в старый тополь, стоящий у дороги. Здесь его и застукал дядя. Ясное дело, он рассвирепел,

обнаружив пропажу, и сделал племяншу выговор: мол, нечего шарить по чужим карманам. Димка же решительно не понимал: почему карман чужой, если дядя ему родной?– и проделал подобную «операцию» ещё несколько раз.

Дядя терпел-терпел, а потом ка-а-ак оттаскал озорника за ухо! Больно, да и от мамы может влететь! Димка тихонько подкрался к окну – разведать обстановку. И услышал голоса.

– Чёрт знает что! – возмущённо кричал дядя. – Совсем ты, Надя, его распустила! Кем он у тебя вырастет?! Крыса! Мы таким в детдоме «тёмную» устраивали.

– Ну, Стёпушка, – виновато отвечала мама, – он же ещё совсем глупый.

Димку больно кольнуло дядино словечко «крыса, но еще больше ненависть и презрение, с которыми он его произнес.

«Неужели это я... крыса?» – И Димка залился краской. А дядька продолжал кричать.

– Думаешь, мне жалко?! Это ж Сашки Цыпляева подарок – у меня ж больше ничего нет! Память!

– А где он сам-то!

– В забое остался, единственный друг мой детдомовский, закадычный. Лежит. Взрывом завалило. Тело так и не нашли.

Димка слышал, как дядя Степан тяжело вздохнул.

– Ладно, братка, поговорю я с ним. Ему ж всё объяснять надо. Он же ничегошеньки про нашу жизнь не знает. Прости ты его и меня прости. Трудно мне, Стёпа, трудно. Я ведь и

сама ещё как слепая. Ничего-то толком не умею. Что мы в детдоме-то видели?..

Послышались женские всхлипы, плач, и у Димки почему-то зачесались и стали мокрыми глаза.

На следующее утро мальчишка проснулся и услышал знакомый повторяющийся звук – это мама стирала на кухне бельё. Пахло хозяйственным мылом, горячей мокрой тканью, в комнату через приоткрытую дверь тяжким облаком заплывал пар. Ни отца, ни Степана дома не было. Димкина мордочка просунулась в дверную щель.

– А где дядя Степан?

– Уехал. – Мама поправила сбившуюся косынку и смахнула пот с лица, но капли всё равно текли по её щекам. – На вот, возьми. От него это. – Она обтёрла руку о передник, сунула её в карман...

На красной размокшей маминой ладони, подмигивая Димке весёлым изумрудным бочком, лежал перочинный ножик дяди Степана.

МОТЯ

Лето. Воскресенье – и пёстрое население покидает душевные квартиры, таборится, занимая земное пространство. Двор общий на два дома. Старушки, древние, седенькие, с внучатами рядком сидят, нянчатся, переговариваются. Димка с соседскими пацанами и девчонками затевают пряталки, казаков-разбойников, словно воробьи, скачут по деревьям,

крышам дровяных сараев, чердакам и подвалам.

Деревянный стол и лавки с утра уж оккупировали картёжники. Димкин отец, Сергей Иванович, одним из первых бежит, чтобы занять место, сметает со стола берёзовые серёжки, аккуратно застилает его газетами. Тут же из подъезда выскакивает длинный облезлый чёрт – старик Хайкин и прыгает на лавку. Прибегает запыхавшийся капитан Гришка Семёнов. Последним вылезает из своего подвала маленький, с длинными мужскими руками, горбун Юзеф Крулевич, которого все во дворе называют Юзиком. Грудь Юзика, если смотреть на неё в профиль, походит на молоток.

За столом шумно. Слышатся резкие, будто щелчки хлыста, удары карт о стол, хохот, крики «ты чем бьёшь, дядя?», «объявляю 220», «а я вот так, видал я твою хвалёнку!», «и ваши не пляшут», радостный вопль победителя и звон мелкой монеты.

И тут «среди шумного бала», но явно не «случайно» из дверей подъезда, занимая всю площадку парадной лестницы, является она – Матильда Константиновна Семёнова, в девичестве Куклите, в миру просто Мотя. И все взгляды невольно обращаются в её сторону. В одной руке у неё эмалированный бидончик литра на три, в другой – Семёнов-младший, наследник. Лицо и все три подбородка Моти лоснятся и блестят, ноздри раздуваются, а ситцевое платье, недавно сшитое Димкиной мамой, того и гляди, лопнет на тугом животе и мощных бёдрах. Кажется, и рост в ней неве-

лик, откуда что взялось! Твёрдой поступью, по-царски ступая и играя могучими икрами, Мотя спускается по лестнице и – прямиком к столу.

Тем временем супруг её – Гришка Семёнов, армейский капитан – увлечён игрой. Завидев супругу, капитан отворачивается. Мотя приближается к игрокам, здоровается, ставит бидончик на край стола и заходит в тыл Григорию.

– Ну-ка, корош, подъём! – командует Матильда и слегка шлёпает Семёнова-старшего по загривку, от чего капитан резко падает вперёд, роняет карты и едва не бьётся лбом об стол. Гришка пытается скромно возражать: мол, дай хоть партию доиграю.

– И без тебя справлюсь, на-ка держи! – И Мотя одной рукой вытащила супруга за шиворот из-за стола, другой сунула ему в руки младенца, а сама уселась на мужнее место и, сладострастно потеряв руки, продолжила прерванный кон. Лицо её выражало высшую степень удовольствия. Гришка стоял сзади, бережно держа отпрыска, виновато переминался с ноги на ногу и заглядывал в карты жены.

Играли в «тысячу».

Мотя с азартом саданула тузом взятку, за которой уже потянулся Сергей Иванович, объявила свои «шестьдесят», зайдя с пиковой дамы, и показала короля. Сергей Иванович только крякнул и почесал в затылке.

– Что, Иваныч, плакали твои хвалёные двести двадцать! – злорадно прошипел сосед из дома напротив Хайкин – худой

высокий старик с остатками седых вьющихся волос на загорелой веснушчатой лысине.

– Вот, тебе шпигу, а не двести двадцать! Момэнт! – И Матильда царственным жестом подозвала к себе Вовку Гурли, известного пакостника и тихушника, сунула ему в руки бидончик и велела сбегать к колонке принести водицы, при этом строго наказала, чтоб непременно холодной.

У Вовки в глазах застыла грусть. Дома нелады. Родители вечно грызутся. Скандалы обычно заканчиваются тем, что его отец, майор Гурли, бросает на пол свой походный фибровый чемодан, сваливает в него из шкафа барахлишко и, громко хлопнув дверью, отчаливает. Вовка не знает, вернётся отец или нет.

Пацан вяло протянул руку, взял бидон и, еле перебирая ногами, поплёлся в сторону колонки.

Частенько и Димке приходилось бегать за водицей. И тогда он нажимал на железный рычаг и, пока сливал воду, пил сам. Наклонялся, подставлял голову, ощущая, как мощная струя кипит во рту, бьёт по языку и раздувает щёки. Потом наполнял Мотин бидон и мчался обратно. Благо, колонка была недалеко.

Мотя радостно, обеими руками, принимала живительную влагу, которая мгновенно исчезала в её бездонной утробе. Пыхтела, дула в вырез декольте, потела. После чего по воду отправлялся очередной гонец. И так раза три–четыре за игру.

Незаметно приблизился вечер, и как-то неожиданно стемнело. Картёжники стали уже слабо различать масти и ставки. Но бросать игру не хотелось, и тогда, как уже не раз прежде, вытащили длинный электрический провод с большой лампой на конце, подвесили его над столом на ветку берёзы, что росла рядом, и продолжили резаться в картишки до поздней ночи.

А ребятишкам-то раздолье: пока взрослые на улице, и они могут не ложиться спать, сидеть на самом краю крыши, болтать ногами; разглядывать звёзды над головой и застывшие облака, причудливо освещённые луной, кажущиеся то морскими волнами, то сказочными горами; вдыхать ароматы акации и сирени, смешанные с запахом дров, угольной пыли и разогретого за день рубероида; и следить за тем, как своими серебряными иглами чертят и бесследно исчезают в бездонной небесной черноте падающие кометы.

А у Эйнгорнов опять крутят Робертино Лоретти. Мальчишка поёт про солнце, про маму и какого-то неведомого Димке весёлого попугая. Илюха Эйнгорн стоит на балконе и дурным голосом подпевает итальянскому вундеркинду: «Папагял, папагял, папагялло!» Илюха и сам похож на попугая: нос, как клюв, торчащие во все стороны рыжие вихры и голос – точно крик испуганного какаду.

– О Деве мано! – воскликнула Мотя и как заорёт благим матом: – Роза, заткни своего Карузу!

Илюха притих на своём балконе.

Матильда нервничала: партия, так хорошо начавшаяся, пошла не по её хотению. Она в очередной раз завысила ставку, переоценила свои возможности и ушла в минус. Поняв, что в этот раз ей не выиграть, она и вовсе окрысилась. И когда Гришка-капитан начал подсказывать следующий ход, Мотя накинулась на мужа:

– А ты чего тут? Лучше б за дитёй следил! Деве ту мано! Вон он у тебя весь обделался! Стоишь, трясешь тут. Поди, ползунки смени.

Партия закончилась. Победил Юзик. Мотя, красная, ещё не отошедшая от карточной битвы, с завистью наблюдала, как горбун своими длинными клешнями загребает к себе выгрыш – кучку монет и несколько денежных бумажек.

На балконе у Эйнгорнов было тихо. Роза сидела на высоком стуле, облокотившись на перила и положив голову на руки, грустно смотрела во двор.

– Роза, – вдруг неожиданно крикнула Матильда, – а ну-ка поставь нам этого «папагялу», да погромче!

– Щас! – просипела Роза, кряхтя, слезла со стула, исчезла в дверном проёме.

Послышалось шипение пластинки, и в летнее ночное небо, проникая во все закоулки, подвалы и чердаки, полетел уже знакомый голос Робертино.

Мотя протянула вверх свои толстенные руки и, как могла, выгнула спину, выпятив вперёд свой внушительный бюст. Потом неожиданно подскочила с лавки и на удивление лег-

ко плавно поплыла, дробно перебирая мощными ступнями, обутыми в домашние стоптанные шлёпанцы, и шевеля необъятными бёдрами:

– Папагял, папагял, папагялло! – по-девичьи звонко и чисто пропела она.

И тут не выдержал, подскочил со своего места седым длинным бесом старик Хайкин, подхватил Матильду за мясистые бока и закружил её, смешно приседая и вывёртывая колени. Сергей Иванович галантно встал и поклонился перед сухой седенькой старушкой, мамой военного хирурга Вайнтрауба, вызывая её на танец. Старушка смущённо отказывалась, а потом махнула рукой и пошла плясать. Услышав музыку и шум, во двор стали выходить и присоединяться к общему веселью остальные жильцы – и вот уже кружились в танце Капкины и Эйгорны, отплясывали Нестеренки и Ликёры, вертелись Флейши и Найдёновы.

Ребятишки, забыв свои игры, спрыгнули с деревьев, прибежали из углов и подвалов и всюю скакали и визжали во круг взрослых. Даже горбун Юзик, который вообще никогда не танцевал, кружился на одном месте, блаженно закрыв глаза и широко растопырив длинные руки.

– Папагял, папагял, папагялло! Та-ра-ри-ра та-ри-ра ра-ра! – хором орал весь дворовый люд. На шум распахивались окна домов напротив, выглядывали недоумённые лица и спрашивали друг у друга, что это там за веселье в соседнем дворе, свадьба, что ли?

Среди кутерьмы никто не заметил, как из дверей своей квартиры выскочил хмурый и расхристанный майор Гурли со своим дежурным чемоданом в руке: он в очередной раз ушёл от жены. Сделав несколько шагов, он в недоумении остановился. Несколько минут ошалело таращил глаза. Тяжёлое лицо его просветлело, и мясистые пухлые губы растянулись в глуповатой детской улыбке. Майор выронил чемодан и, выкрикивая что-то дикое и ни на что не похожее, ринулся в толпу пляшущих и орущих соседей.

В чёрной вышине над городом снисходительно и царственно улыбалась Луна, а среди разгорячённых и скачущих голов мелькало победно сияющее круглое лицо Моти.

«МОЙ МИЛЫЙ АВГУСТИН»

В ГОСТЯХ У БАБУШКИ ХАВРОШИ

Бабка Февронья Васильевна потешная была. Родные и соседи звали её просто Хаврошей. Жила она в тамбовской деревне Токарёвке. Небогато жила: и то, изба неказиста, крыта соломой.

Маленькая, с большими тёмными ступнями (пол-то в избе земляной!), ногти на ногах нестриженные, длинные. Увидит, что Димка на её ногти удивлённо смотрит, шутит: «Что, длинные ногти у бабули отросли? Всё не досуг постричь. Теперь ножнями не возьмёшь – придётся топориком обрубать».

Димке года четыре было или около того. Взрослые своими

делами занялись, про него забыли. Опомнились, только когда он из дверей, что в сени ведут, вылез. Видят, тащит оттуда тяжеленный топор, которым бабушка дрова рубила. Димка его, видно, ещё раньше заметил. «Давай, – говорит, – бабушка, ногти обрубать». Все со смеху чуть не повалились.

Бабушка Хавроша лицом была похожа на мордвинку. Глаза раскосые, домиком, еле видные, приплюснутые скулы, нос картошкой – предки, видать, когда-то скрестились с азиатами. На левой брови шрам. Когда кто спрашивал, откуда, мол, отвечала: «Это мне муж Ваня гостинчик преподнёс к праздничку». Ноздри вечно серые от табачной пыли: любила нюхать табачок, приправленный одеколоном, и от рюмочки не отказывалась. А уж как рюмочку оглоушит, так тут же в пляс.

А уж как Хавроша к приезду дорогих гостей – сынка Серёньки и внучка Митьки – готовилась! Сама-то, как птичка, зёрнышком сыта была. А вот на свои «огромные двенадцать рублёв пензии» сыну бутылочек десять беленькой припасёт, а Митьке гостинцев: конфетиков разных, медку да вареньица всякого. Добрая была. Любила Митьку бабушка Хавроша!

Бывало, придут «голубчики», войдут в избу, вскрикнет она таким неожиданно низким хриплым голосом: «Ох, Серёнька, сынаня родимый! Внучек, херувимчик мой! Родные мои! Наконец-то приехали. А я уж закручинилась, нету, мнится – не чаяла, дождуся ль милого сыночка и внучка своего дорогого». И ну, давай расцеловывать да обнимать. Тут и

слёзы, и радость – всё вперемешку.

Митька маленький, шустрый!

Как-то отец с мамой и бабушкой в кухне сидели, а Митька в комнате забавлялся. Хавроша в погреб полезла за разносолами. Крышку погреба открыла и вниз. Митька-то этого не видел: между кухней и комнатой занавеска висела. Сидят они, мирно беседуют. Тут мальчишка из-за занавески выскочил – через кухню пролетел и свалился в открытый погреб! Хорошо, что погреб неглубокий. Да и Хавроша стояла прямо под люком, согнулась над своими кадушками: огурчики-помидорчики доставала. Тут он ей на спину и свалился.

Бабка со страху-то осерчала. Кричит благим матом: «А-а-а! Чёрт, чёрт!» Подумала: нечистый ей на спину вскочил! Достали Митьку из погреба. Ощупали. Вроде целый. Даже не ушибся. Как же, бабкина спина его спасла! Только от страха обомлел, точно червяк после дождя.

А вечером уж и родня подгрребла: тётка Тамара, дядя Вася и дочки их, Митькины двоюродные сёстры – Маринка со Светкой. А у дяди Васи гармоника! Тут объятья пошли, расспросы: как, кто, да где, да Митька-то как подрос, вытянулся! – и за стол, с бабушкиными соленьями из погреба, с картошечкой да с курочкой свойской.

Взрослые водочку попивают, а Митьке Хавроша прикупила в лавочке лимонаду «Дюшесу» – сладкого, вкусного с пузырьками. Чокается мальчишка со всеми своим стаканчиком – маленький такой гранёный! Лица у всех веселые, до-

вольные! А уж как подвыпили – затянули любимую семейную «Отец мой был природный пахарь...» Красиво пели, душевно.

Дядя Василий развернул меха своей гармонии. Да, как грянет плясовую! Как выскочит Хавроша мелким монгольским бесом на середину комнатёнки и, подбоченившись, притоптывая босой ступнёй, как захрипит: «А танюшки, мои матанюшки, и татушнички, и мамушнички!» Да хватит ядрёную частушку: «Мой цветочек голубой, мой цветочек аленький, ни за что не променяю х... большой на маленький!» Смех, да и только.

Тут и остальные пошли в пляс. Дядя Вася, сам на гармонике наяривает, а тоже приплясывает: со всей дури вколачивает сапог в пол. И Митькин батя Сергей Иванович с сестрой Тamarой скачет, смешно выкидывая коленца. И Митька с сестрами, взявшись за руки, тоже вертятся юлой. Девчонки пронзительно визжат: «И-и-и-и-и-и!»

Ходуном заходила бабушкина избёнка. Далёко по селу слышать веселье. И только мама Димкина, Надежда Васильевна, сидит за столом, тихая, задумчивая, и в глазах её тёмных, почти чёрных, какая-то нездешняя грусть, и сама она будто где-то далё-ё-ё-ко: не трогают её ни разудалый перелив гармоники, ни хохот, ни топот, ни девчачий визг.

Веселье постепенно стихает. Напрыгались, надухарились Митька, Маринка и Светка. Захмелели и подустали батя и дядя Вася. Ещё бы, мужики для смеху затеяли борьбу, как

дядя Вася называл её, «на калган»: упирались лбами, хватали друг друга за ремни, пытались вытолкнуть противника с центра комнаты. Умаялись, сидят про свои мужицкие дела гутарят. О чём-то тихо беседуют за столом Надежда Васильевна с Тамарой Ивановной.

Хавроша незаметно стала готовиться ко сну. Вот уже и гости собрались домой, прощаются, пьют на посошок, целуются, договариваются о том, когда снова встретятся: «Теперь вы к нам. Когда? Да завтра и приходите. А чего тянуть-то!..» Все, кроме бабушки, выходят на улицу – провожать.

Летнее солнце уже закатилось за край села, но ещё всё видно. Тени смягчились. Отдыхают от дневного зноя бледно-голубые берёзы, густые пахучие кусты сирени, соседские полисады, огороды, штaketники. Лениво брешут на дальних концах улицы цепные псы. Бесчисленными светляками по необъятной, бездонной небесной степи мерцают звёзды. И всё, что Митька видит, вдыхает, ощущает, ему, городскому мальчишке, кажется таким непривычным. Всё это каким-то естественным и одновременно чудесным образом проникает куда-то глубоко внутрь, через поры, что ли!

Дошли до железнодорожной станции. Простились. Возвратились той же дорогой. Хавроша уже всем постелила в комнате, а сама прилегла в кухне на свой деревянный маленький сундучок: она всегда на нём спит, когда приезжают гости.

Митька раздевается, ложится в постель и разглядывает бе-

лѐные доски низкого потолка, разделѐнные толстыми балками, фотографии родни на стенках. Кого-то узнаѐт, а некоторых не знает и никогда не видел. Вот рядом с молодой ещѐ Хаврошей мужчина сурового вида, с жѐстким взглядом и с чѐрными большими усами. Митька знает, что это его дед Иван. Он был сапожником и давно умер. Мальчику отец рассказывал, при этом тяжело как-то вздыхал.

Вот легли и родители, выключили лампочку. Тихо. В темноте своими железными ножками мерно вышагивают бабушкины ходики. Ти-ки-так, тик-так-ти-ки-так... Митька их не видит, но на внутренней поверхности закрытых век, как на экране в кино, проявляется циферблат и поваленная сосна, и мишки, и шиш-ки, шиш-кин, шиш-ш-ш-ш... ш-ш-ш-ш-ш-ш...

Утром Митька проснулся рано. Родители еще спали. Хавроша чем-то негромко шуршала на кухне. Дед Иван Филиппович хмуро смотрел на мальчишку с мутной фотографии: когда-то она была маленькой, жѐлтой, перегнутой пополам, ее увеличили – и теперь след от сгиба проходил прямо по лицу деда. Грозно топорщились дедовы чѐрные казацкие усы. Митька вспомнил, отец ему рассказывал: дед Иван испорол сына шпандырем за то, что тот, пацаном когда был, отрезал от голенища готовых сапог кусок кожи себе для рогатки. «Заплатил, так сказать, своей шкуркой», – смеялся отец. Мальчик обернулся, не видит ли кто, и погрозил деду кулаком. Митьке показалось, что грозный сапожник пошевелил

в ответ своими усищами. Испуганный мальчишка подскочил и, как был в трусах и в майке, выбежал на кухню.

Хавроша сидела на своём сундучке и закручивала большим пальцем в ноздрю нюхательный табак, блаженно щурилась, чихала и вытирала нос платочком.

– Ложился бы, внучек, посыпохивал, ранёшенько поди, – заскрипела старушка и добавила: – А не то, давай, я тебе молочка нолью, свойского. Скусное! И-и-и-и-и...

Она, сощутив и без того узкие глаза и сложив губы куриной гузкой, завертела головой. Шустро соскочила с сундучка, процокала босыми коричневыми ступнями по полу к столу и схватила обеими руками тёмную глиняную крынку.

– На-кась, покушай! Ты в городе таковского ни в жисть не спробуешь.

Митька стоял и заворожено смотрел на Хаврошины узловатые морщинистые руки и на то, как белая широкая струя медленно перетекала из большого бабушкиного кувшина в его маленькую узкую кружечку.

«МОЙ МИЛЫЙ АВГУСТИН» (В СТАЛИНГРАД ЗА СОЛЬЮ)

Отец рассказывал. Он, когда отца его Ивана за колоски посадили, остался в семье за кормильца, а было ему в сорок первом двенадцать лет. Тут, говорит, мы и хлебнули лиха по самые ноздри! Голодуха! Ели что ни попадя. Крапиву и лебеду, хлеб пополам со жмыхом. Выкапывали мёрзлую, по-

дусгнившую картошку, ту, что осталась в земле после уборки на колхозном поле. За неё не сажали – указа про картошку не было. Хавроша варила из неё кисель. От него потом маялись животами. Соли тоже не было. Позже, когда наши отбили Сталинград, прошёл слух, мол, там можно разжиться солью. Отец, недолго думая, раздобыл где-то несколько пачек махорки и собрался в дорогу: авось, обменяет. Ехать пришлось на крыше товарного вагона.

Город стоял весь в руинах, в гари и копоты недавно закончившихся боёв, но жители уже потихоньку копошились на пепелищах, разгребали завалы, приспособливали то, что можно было использовать, для жилья. Батя дошёл до берега Волги. Берег весь был усеян разбитыми катерами, лодками и баржами. Стояли тут и разбитые немецкой авиацией баржи с солью. Соль была похожа на глыбы льда, выброшенного на прибрежный песок. Охранял ее сторож, деревенский мужик с винтовкой, в оборванной, старой солдатской шинели и шапке-ушанке, на которой чернильным карандашом была нарисована пятиконечная звезда.

Он строго спросил:

– Чего тебе, малец?

– Да, вот, дяденька, мне бы соли!

– Не положено.

– Так вы, дяденька, не подумайте, я же не запросто так. У меня махорка имеется.

– Не врешь? А ну покаж.

Отец вынул из-за пазухи хранимую пуще живота махорку. Протянул сторожу замызганный холщёвый мешочек.

– Вот, дяденька, не вру.

«Дяденька» взял мешочек с драгоценным зельем, растянул края, засунул в него весь свой длинный закопчённый нос, жадно вдохнул, блаженно прикрыв глаза.

– Ты откуда ж будешь, малый?

– Так мы тамбовские, Токарёвку знаешь? Как на Грязи ехать. Может, слышал?

– Не-а.

– А Жердевку?

– Погодь. Это где сахзавод?

– Ага. Так за Жердевкой, не доезжая Обороны. Вот там, между имя и есть Токарёвка.

– Ясно. У тебя есть, во что соль-то взять?

– А как же, мешок есть.

– Ну, тогда пошли.

Отец достал из-за пояса грязный картофельный мешок и вприпрыжку поскакал за сторожем. Не отставал, волновался, как бы тот его не наманул. Подошли к бело-серой ледяной горе. Сторож вытащил припрятанный ржавый лом. Ударил раза два и отколол добрый кусман соли. Приподнял, попробовал на вес.

– С пудика полтора будет!

– А ещё можно, дяденька?

– Куда тебе, паря?! Мне не жалко, да ты этот-то, боюсь,

не осилишь.

– Не бойсь, я жилистый.

Солнце светило ярко и играло искрами на белоснежных соляных сколах. Сторож помог батю засунуть глыбу в мешок и, указывая на разбитый дом, стоящий в метрах ста от них, сказал:

– Видишь дом? Так вот немец там был, только дальше его не пустили. Народу тут нашего, паря, легло – страсть страшная! Теперь, помяни моё слово, погоним мы Гитлера до самого Берлина, в рот ему дышло! – Мужик резко ударил левой ладонью по правой руке выше сгиба и выбросил вверх могучий заскорюзлый кулак. – А вот это он видел?!

Дальше он изобразил такую витиеватую фигуру речи, да так мастерски завернул, что отец только рот открыл.

– Чего рот раззявил! Давай, пособилю. – И сторож помог батю закинуть мешок на плечо. – Пошли, а то, не равён час, начальство нагрянет. Нельзя тебе тут. Да и мне всыпят по первое число. Идём!

Батя сгибался и мотался из стороны в сторону под тяжестью мешка, но был доволен и не без гордости представлял, как зайдёт в избу и как обрадуется мать, а он, как взрослый, будет рассказывать о путешествии и о том, как ехал туда и обратно, видел разбитые искорёженные немецкие танки и грузовики, как добывал соль. Только не знал, показывать ли ей пистолет и часы, которые он взял у офицера из разбитого немецкого танка.

Офицер не возражал и даже улыбался. Левый висок его был разворочен. Кисти рук в чёрных кожаных перчатках. В правой руке зажат воронённый парабеллум. В левой блестели круглым бочком часы с цепочкой, обвившей запястье тонкой золотой змейкой. Воздух в кабине был пропитан тошнотворными парами тлена. Отец попытался разжать пальцы, но не смог. Потянул за обе перчатки – и они снялись вместе с кожей. К горлу подкатывала тошнота – и батя выскочил из люка. Кое-как выдрал из перчаток трофеи – и уж тут его прополоскало: всю землю заблевал...

Отец полез в ящик стола. Улыбаясь, потянул за рыжий хвостик и выудил круглые блестящие, словно луковица, часы. Дунул на них, бережно протёр носовым платком. Аккуратно открыл крышку и поднёс к уху. Зазвучала мелодия «Мой милый Августин».

– Абрам-Луи Брегет. 1890 год, – с гордостью произнёс отец.

Коверкая немецкие слова и ничего не понимая, он прочитал надпись на внутренней стороне крышки:

– «Либ Август! Ис гиб никс штыркер аль ди лейба зайн ватер фир зайн сон» (что в переводе с немецкого означало: «Дорогой Август! Нет ничего сильнее любви отца к сыну».) Что-то про какого-то Лейбу написано, – пояснил батя.

– А браунинг где? – Димкины глаза горели.

Сергей Иванович почесал лоб.

– Так в сорок шестом приказ был: всё огнестрельное оружие сдать. Я сдавать не стал, а то начнут пытаться: где взял, да когда. Пошёл и в пруд закинул от греха подальше.

– Ах, мой милый Августин, Августин, Августин, – пропел старый брегет.

– Пап, а на кой немцы на нас нападали?

– А чёрт его знает, моча в голову стукнула! Не хотели, чтоб мы коммунизм у себя построили.

И затянул, подпевая брегету:

– Ах, мой милый Августин, Авгу...

– А что такое коммунизм?

– ...стин, Августин, Августин... Коммунизм-то?.. Ах, мой милый Августин, всё пройдёт, всё!..

– Всё пройдёт, всё! – беззвучно, одними губами, задумчиво повторил Димка, а старый неутомимый брегет продолжал наигрывать свою простенькую мелодию, отсчитывая хитрым железным нутром неизмеримую и непостижимую бесконечность...

ДВОРИК

ДВОРИК

Если бы кто-нибудь из праздных гуляк, которые во множестве болтаются по улицам Старого города, забрёл внутрь, – он бы увидел квадрат двора и торчавший посередине пьедестал памятника. На вершине постамента было голо, по-видимому здесь давным-давно стоял некто извест-

ный. Хотелось непременно заполнить пустоту, установить хоть что-нибудь: крест, бюст или, на худой конец, забраться на постамент самому. Напротив входа желтела стена древнего забора, поросшая густым ковром дикого винограда, прихваченная длинными зубами контрфорсов. За стеной взлетал в небеса костёл Святого Духа, затенённый охранным отрядом пожилых тополей.

Во внутреннем пространстве дворика можно было бы увидеть три подъезда, смягченных тенью, с уходящими куда-то в сизоватую глубину ступенями. Стелу, мраморную, с отбитыми углами, скамейку, напоминавшую французский сыр бри с зеленовато-серыми жилками плесени, три–четыре чахлых куста сирени, стены, давно не знавшие краски, с треснувшей, местами отбитой штукатуркой и обнажившимся рыжим кирпичом, землю, мощённую где булыжником, где тротуарной плиткой, покрытую реденькой чахлой травой, а то и вовсе голую, – всё это создавало впечатление тлена, старости, долгой болезни, чего-то нежилого, но непостижимым образом, одновременно – покоя, столетиями нажитого человеческого уюта и тепла, незыблемости, вечности. Казалось, что это не жилой дом, а старый, беспризорный музей, если бы не тюль и не гардины на окнах, не цветочки в горшках на подоконниках и не висевшее на веревках в углу двора стираное бельё. Воздух дворика застоялся и не проветривался лет пятьдесят...

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

Было начало мая, и, хотя солнце поднималось достаточно высоко, все ещё чувствовалась пробирающая тело прохлада. Особенно она ощущалась в тени дворика, куда залетал бодрящий весенний ветерок.

К обшарпанной филенчатой неопределенного коричневого цвета двери подъезда вела дорожка, выложенная двумя рядами тротуарной плитки. За первой дверью вторая – близнец. На площадку первого этажа поднимались три стёртые ступени. Справа от входа висели шесть почтовых ящиков (по три в ряд), крашенные темной синей краской с бледной цифирью. Ящики эти явно не соответствовали барочной монастырской архитектуре. Прямо за площадкой поднималась лестница на второй этаж. Между этажами светилось оконце, отбрасывая на лестницу прямоугольный свет, равномерно разделенный рваным пунктиром креста оконной рамы.

На первом этаже было три квартиры. В однокомнатной, слева, жил отставной подполковник Николай Павлович Ягудин, одинокий желчный старик. Длинный, седые волосы как будто подёрнуты ржавчиной, кустистые брови над белесыми выцветшими глазками, в которых тлел еле заметный бесовский огонёк. Поговаривали, что некогда Николай Павлович служил в органах. Лет пять-шесть как овдовел. Выглядел довольно прилично и опрятно: к нему время от времени приходила какая-то старая родственница, помогала по хозяйству.

По соседству с Ягудиным проживала семья Грайферов.

Сами Грайферы – муж с женой и их сыновья Генка и Лёнька. Отец семейства Иосиф Грайфер – среднего роста, курчавый, рыжеватый, с глазами навывкате и с чуть разбавленными иорданскими чертами лица. Иосиф трудился экспедитором на ликёроводочном заводе. Развозил алкоголь по магазинам и ресторанам. Нрава был тихого и спокойного, но Ягудин в частной беседе недвусмысленно говорил про него, оскалив вставную челюсть, что, тот «прикидывается, а сам тайно ненавидит советскую власть и мечтает слинять на родину предков». И, если честно разобраться, то с чего бы Иосифу Грайферу так уж очень любить большевиков? Ведь была у его папы Соломона до войны своя доходная ювелирная лавочка недалеко от остробрамских ворот, прислуга, квартира о пяти комнатах и выезд. Но в 1940-м пришли «товарищи», и все пошло «коту под хвост». Теперь осталась вот эта самая трёхкомнатная «халабуда» и «сто двадцать плюс премия в квартал. Благодарим покорно!»

Жена Иосифа Бэла держала, как и полагается настоящей еврейской жене и мамаше, на своих плечах дом, мужа и детей («шобы они таки уже все были здоровеньки»). Красотой не блистала и, как водится, имела стабильный торс, стоящий на худых и несколько кривых ножках.

Родители Грайфера и его жены погибли во время немецкой оккупации. Попали в гетто и были расстреляны за городом в ямах у реки Нерис в Панеряй или, как называли это страшное место виленские евреи, Панары. Детей успела

укрыть у себя семья соседей-поляков.

Тут же на первом этаже напротив Ягудина в большой трёхкомнатной квартире жили Новицкие. Муж с женой: Владимир Романович с Викторией Казимировной – и два их сына: Мирослав (а для Димки просто Мирка) и Збигнев. А также две старушки: матушка Владимира Романовича и тётушка Виктории Казимировны.

Димка буквально прописался в доме Новицких. Виктория Казимировна полушутя-полусерьёзно называла его «моим третьим сыном».

Вот и на этот раз он уже хотел было позвонить в заветную дверь, как вдруг в спину ему кто-то закашлял.

– Митяй, а ну зайди!

Димка резко обернулся и увидел горящий глаз Ягудина.

Чертыхаясь про себя, пошёл за стариком по тёмному коридору вглубь квартиры. В единственной комнате стоял какой-то липкий полумрак, смешанный с запахом перегара, нафталина, папиросного дыма, помойного ведра, немытого тела и грязной посуды. Филумов никогда не был в квартире Ягудина и решил осмотреться. На придвинутом к стене канцелярском столе с выдвигаемыми ящиками на газете лежал надкусанный батон колбасы, остов вяленой рыбы, тут же стоял грязная тарелка с потушенными бычками папирос, немытые гранёные стаканы и початая бутылка сухого вина. Ближе к стене, у края стола, Димка заметил портативный при-

ёмник «Альпинист», из которого, сквозь шипение, пробивалась первомайская праздничная музыка.

Вид у Николая Павловича был явно несвежий: мутные глаза блестели ровным стеклянным блеском, трехдневная седая щетин, покрывала припухшие щёки белесоватым МХОМ.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.